Дмитрий Быков

Время черных

Дмитрий Быков

Бремя черных

«Эксмо»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

Быков Д. Л.

Бремя черных / Д. Л. Быков — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-098884-6

Живая интонация стихотворений Дмитрия Быкова всегда пропитана теми жизненными токами, которые бьются вокруг нас, в том числе и в реальной жизни. И потому эта книга и об ощущении времени. В ней собраны новые стихотворения Дмитрия Быкова, среди которых есть безусловно выдающиеся, например «Дворец», «У Бога не было родителей», «Как пахнут увяданьем рябина и сирень!», а какие еще, решать читателю, а также современное переложение пьесы Ж.-Б. Мольера «Мизантроп», выполненное для театральной постановки в Гоголь-центре, премьера которой состоится в конце 2018 года.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-04-098884-6

© Быков Д. Л., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Стихотворения 6
Длинные стихи 6
Разрыв 6
«По светлым вечерам над вешнею равниной…» 7
«Как пахнут увяданьем…» 8
Вольные мысли 10
1 10
2 12
3 13
Дивертисмент 16
«А то вот был еще такой типаж…» 19
Ex Portland 21
Триптих 23
1 23
2 24
3 25
Элегия в трех сонетах 25
Из цикла «Новые баллады» 26
Еще танго 28
«Земля очнется после снега – и лезут из-под него…» 29
Дембель 30
Бремя белых 33
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Дмитрий Львович Быков
Бремя черных

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Быков Д. Л., 2018
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018

Стихотворения

Длинные стихи

Разрыв

Хороша определенность,
Однозначность дорога,
Хороша отъединенность
От исконного врага.

Сколько ты ко мне тянулся
И к тебе тянулся я!
Сколько фальши и занудства,
Фарисейства и вранья!

Мол, и кровь-то ты, и почва,
И мякина, и металл,
Мол, и я такой же точно,
Только больше прочитал.

Ну и ты в ответ туда же —
Мол, живи, пока живой,
Тесно нам в одном пейзаже,
Но потерпим, не впервой.

Не мучу я больше воду,
Мелкий бисер не мечу,
Гегемону, антиподу
Полюбиться не хочу.

До небес стоит преграда
Между нами, удалец,
И не ты моя лампада,
И не я тебе чернец.

И с тобой, моя Отчизна,
Разделились мы вполне,
Примирит нас только тризна
По тебе или по мне.

Эти теплые речушки
Этой средней полосы
И курносые девчушки —
Две соломенных косы —

Это все уже не спрячет
Людоедские черты.
Да никто и не заплачет.
Кто заплачет, тот не ты.

Расставание – награда
Для продвинутых сердец,
И не ты моя баллада,
И не я тебе певец.

Да и в целом внешний мир-то,
Средоточье склок и драк, —
Был у нас период флирта,
Был у нас неравный брак,

А теперь неторопливо
Подобрались ты и я
К сладкой стадии разрыва —
Высшей форме бытия.

Для чего уже теперь-то,
В предпоследние века,
Мне косить под экстраверта,
А тебе – под добряка?

И не мне твоя армада,
И не я твой военспец,
И не мне твоя громада,
И не я тебе жилец,

И не ты моя услада,
И не я твой леденец.
То есть больше нам не надо
Притворяться наконец.

«По светлым вечерам над вешнею равниной…»

По светлым вечерам над вешнею равниной
Витает сложный дух, и грешный, и невинный:
Цветенье всех цветов, древесных и речных,
Симфония дневных, вечерних и ночных:
Воронки хищные, оковы и альковы,
Тех тянет увядать, те расцветать готовы,
Сад веет яблоней, помелой, мушмулой,
Расцветом гибельным и свежестью гнилой.
Венерин башмачок, Змеиная забава,

Старушечья любовь, Невестина отрава,
И Волчья жимолость колышется шурша
И чутко шелестит, как Заячья душа;
Роняет серебро Асклепиев фонарик,
Ночь Африки горит, Сон разума воняет,
Сочится Похотник, и Девичий бочок
Высовывает свой ворсистый язычок.

Когда начнет темнеть, к тоскующей гитаре
Сползаются на свет таинственные твари:
Назойливый Лизун в зеленой чешуе,
С шипами по бокам, как замок Рамбуйе,
Двутелый Скалолаз, любимец Марко Поло,
Что не дает взаймы и не имеет пола;

Шипящий Оползень в подшерстии густом,
Воинственный Хвостун с развернутым хвостом,
Стыдливый Богомол, неумный Богоборец,
Чванливый Самовол, одесский Черноморец,
Икает Стрелочник, и Скользкий Простачок
Показывает свой приятный пустячок.

В сгустившейся ночи сгущая благодатность,
Созвездия горят, наглядные, как атлас:
Надменный Волопас пасет своих волов,
Надменный Рыболов считает свой улов,
Из альфы Соловья доносятся сигналы
В созвездие Свиньи, в созвездие Вальгаллы,
И глазом золотым косит небесный Кот,
Как робко всходит Мышь на темно-синий свод.
Суровый Программист стучит по звездной клаве,
Пугливый Аферист ползет по Сверхдержаве
На Вышний Волочок, а Нижний Волочок
Почесывает свой квадратный пятачок.

Ах, только человек средь этих дивных всячин
Так безнадежно зол, так грустно озадачен,
Так поглощен собой, самолюбиво слеп
И так цепляется за свой прогнивший склеп.
Среди небесных див, красилен, пивоварен
Так редко счастлив он и так неблагодарен —
И непонятно, в чем наш первородный грех:
Не то мы проще всех, не то сложнее всех.

«Как пахнут увяданьем…»

Как пахнут увяданьем

Рябина и сирень!
Каким густым страданьем
Наполнен каждый день!
Как привкус гнили, прели,
Схожденья на убой
Заметен в каждой трели
И веточке любой,
Сквозит из каждой щели,
Зеленой, голубой!

Весною все о тлене —
Цветенье всех кровей,
Спиреи и сирени,
И птица соловей.
Потом оплачет липа
Всю эту чехарду —
Посредством как бы всхлипа,
Последнего в году.

Зима почти красива,
Ходя подчас грязна,
Но там хоть перспектива,
А именно весна.
Она как та равнина,
Родная искони,
На коей все едино,
Но впереди огни.
Весна подобна Польше.
Ее черты грустны.
Весною много дольше
До будущей весны.

Как этот ямб трехстопный
Напоминает мне
Отдельный тип антропный
В исчезнувшей стране —
Ребенка-вундеркинда,
Что чуть откроет рот,
И слушателям видно,
Что скоро он умрет.
Чахоточная дева —
Не осень, а весна,
Погибшая без дела,
Как Ника Турбина.

О смертный дух сиреней,
Гниений дух сырой!
Какой-нибудь осенней
Унылою порой

Все хочется: скорее!
У финиша, у дна,
Как в Северной Корее,
Природа так скудна,
Что сдохнешь – и не жалко.
Но позднею весной,
Когда легко, и жарко,
И вечер выпускной!

И смерть тебя волнует,
Пока ты молода,
Пока навстречу дует
Вербена, резеда.
Откуда страх у старца,
Чей век – такая нудь,
И с ним ему расстаться,
Как юноше уснуть?
Весною все о смерти,
В ней скрыт ее разбег —
Как прячется в конверте
Письмо «прощай навек».
О черно-синий взгляд твой,
Весенней ночи цвет,
Что ни мольбой, ни клятвой
Не удержать, о нет.
Она горит, как яхонт,
Чернеет, как монах,
И так землею пахнет,
Как на похоронах.

Вольные мысли

1

В России выясненье отношений
Бессмысленно. Поэт Владимир Нарбут
С женой ругался в ночь перед арестом:
То ему не так, и то не этак,
И больше нет взаимопониманья,
Она ж ему резонно возражала,
Что он и сам обрюзг и опустился,
Стихов не пишет, брюзжит и ноет
И сделался совершенно невозможен.
Нервозность их отчасти объяснима
Тем, что ночами чаще забирали,
И вот они сидят и, значит, ждут,

Ругаясь в ожидании ареста
И предъявляя перечень претензий
Взаимных.
И тут за ним приходят —
Как раз когда она в порыве гнева
Ему говорит, что надо бы расстаться,
Хоть временно. И он в ответ кивает.
Они и расстаются в ту же ночь.

А дальше что? А там, само собою,
Жена ему таскает передачи,
Поскольку только родственник ближайший
Такую привилегию имеет;
Стоит в очередях, носит продукты.
Иметь жену в России должен каждый —
Или там мужа; родители ненадежны,
Больны и стары, а всякий старец
Собою озабочен много более,
Чем даже отпрыском. Ему неясно,
С какой он стати, вырастив балбеса
И жизнь в него вложив, теперь обязан
Стоять в очередях. Не отрицайте,
Такое бывает; вообще родитель
Немощен, его шатает ветром,
Он может прямо в очереди сдохнуть,
Взять и упасть, и не будет передачи.
В тюрьме без передачи очень трудно.
В России этот опыт живет в генах.
Все понимают, что терпеть супруга
Приходится. Любовниц не пускают,
Свиданий не дают, а женам можно.
Ведь в паспорте никто пока не пишет
«Любовница»! А получить свиданье
Способен только тот, кто вписан в паспорт.
Вот что имел в виду Наум Коржавин,
Что в наши, дескать, трудные времена
Человеку нужна жена. Нужна. Уж верно,
Не для того, чтоб с нею говорить.

Поэтому выясненье отношений
Бессмысленно. Поэтому романы
В России кратки, к тому же всегда негде.
Нашли убогий угол, быстро слиплись,
Быстро разлиплись, подали заявленье,
Сложили чемодан и ждут ареста.
Нормальная любовь. Потом плодятся,
Дети быстро знакомятся, ищут угол,
Складывают чемодан и ждут ареста.
Паузы между эпохами арестов

Достаточны, чтобы успели дети
Сложить чемодан и слипнуться. Ведь надо
Кому-нибудь стоять в очередях.
В любви здесь надо объясняться быстро —
Поскольку холодно; слипаться быстро —
Поскольку негде; а разводиться
Вообще нельзя, поскольку передачи
Буквально будет некому носить.

2

В Берлине, в многолюдном кабаке,
Особенно легко себе представить,
Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
Свободных мест нету, воскресенье,
Сияя, входит пара молодая,
Лет по семнадцати, по восемнадцати,
Распространяя запах юной похоти,
Две чистых особи, друг у друга первые,
Любовь, но хорошо и как гимнастика,
Заходят, кабак битком, видят еврея,
Сидит на лучшем месте у окна,
Пьет пиво – опрокидывают пиво,
Выкидывают еврея, садятся сами,
Года два спустя могли убить,
Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.

С каким бы чувством я на них смотрел?

А вот с таким, с каким смотрю на все:
Понимание и даже любованье,
И окажись со мною пистолет,
Я, кажется, не смог бы их убить:
Жаль разрушать такое совершенство,
Такой набор физических кондиций,
Не омраченных никакой душой.
Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
Фирменная секреция, секрет фирмы,
Вьются бестиальные белокудри,
И главное, их все равно убьют.
Вот так бы я смотрел на них и знал,
Что этот сгинет на восточном фронте,
А эта под бомбежками в тылу:
Такая особь долго не живет.
Пища богов должна быть молодой,
Нежирною и лучше белокурой.
А я еще, возможно, уцелею,

Сбегу, куплю спасенье за коронку,
Успею на последний пароход
И выплыву, когда он подорвется:
Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
Однако никогда не до конца:
То ли еще я в пищу не гожусь,
То ли я, правду сказать, вообще не пища.
Он будет умирать и возрождаться
Неутомимо на моих глазах,
А я – именно я, такой, как есть,
Не просто еврей, и дело не в еврействе,
Живой осколок самой древней правды,
Душимый всеми, даже и своими,
Сгоняемый со всех привычных мест,
Вечно бегущий из огня в огонь,
Неуязвимый, словно в центре бури, —
Буду смотреть, как и сейчас смотрю:
Не бог, не пища, так, другое дело.

Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.

3
После Адорно

Адорно приписывается (кем приписывается? – многими)
Мысль о том, что писать стихи после Освенцима —
Варварство; он так и пишет – варварство.

Обычно эту формулу Адорно
Цитируют злорадно и задорно.

И это понятно: есть категория людей,
Которые охотно согласятся,
Чтобы Освенцим был, а стихов не было.
Я их понимаю очень хорошо:
Стихи для них – постыдный компромисс,
Тогда как Освенцим – нечто бескомпромиссное,
И кстати, если им ничего не будет
И не услышит политкорректный Запад,
Они готовы даже заявить,
Что Освенцим тоже был культурной акцией,
Причем гораздо более значительной,
Чем весь террор и красные бригады;
Люди Освенцима, построенные на плацу,
Напоминают им собою строфы
Немыслимых, нечитаных стихов,

А всякие этические восклицания
Мешают насладиться в полной мере
Такой сверхчеловеческой эстетикой.
Сказал же, если я не забыл, Штокхаузен,
Что высшим актом творческого гения
Была атака 11 сентября;
И с этой точки зренья после Освенцима
Нельзя писать не потому, что стыдно,
А потому, что лучше не напишешь.
И то сказать, какое впечатление
Сравнится с тем, которое Освенцим
Производил на зрителей и участников?
И не зовем же мы протофашистом,
Допустим, Блока, после гибели «Титаника»
Записавшего, что есть еще океан?
Есть также люди, думающие всерьез,
Что евреи были наказаны за Христа,
Европа – за отпадение от Бога,
Пассажиры «Титаника» – за сытость и богатство,
И с этими людьми мы ездим в транспорте
И, собирая общие налоги,
Оплачиваем обще государство;
Их логика понятна и резонна,
И вправе быть – коль скоро эти речи
Они пока произносят не в Освенциме.
Я не о них, о них неинтересно.
Один поэт, теперь уже покойный,
Писал, например, что истинные поэты —
Не те, что пишут стихи, а ополченцы
(Звенит в ушах лихая музыка атаки),
И даже срифмовал «верлибр» – «калибр».
Живой, вы говорите? Как кому.
Кому и Ленин жив. Но суть не в том.

В действительности в «Негативной диалектике»
(Я так говорю, как будто ее читал,
Но я из нее читал одну страницу)
Говорится, что вопрос насчет стихов
Неправилен, а правильней спросить,
Возможно ли в принципе жить после Освенцима;
На этот вопрос Адорно пишет – нет,
Живущий должен считать себя уцелевшим,
А на фиг, читаем в подтексте, такая жизнь;
Короче, с точки зрения Адорно
Не просто сочинять, а жить позорно.

Но то – Освенцим, все-таки фашизм,
Вторая мировая, есть масштаб,
Есть ощущение конца эпохи,

И, как писал Адорно, надо жить —
Хотя бы чтобы это не повторилось.
Три ха-ха! Одно не повторилось,
Другое повторится. Оптимист,
Хотя потом и умер от инфаркта,
Затравленный студентами. Ну ладно.
А вот теперь открываем и читаем:
В тюрьме замучен бизнесмен Пшеничный,
Рваные раны, во рту ожоги электрошока,
Ушибы конечностей, сломан позвоночник,
Перед смертью изнасилован буквально,
То есть в анальном проходе сперма, и задушен.
Вымогали деньги – не отдавал,
Предупреждал жену – «не отдай деньги».
Ну вот, не отдал. Виновных не нашли.
Списали, как всегда, на суицид.

Читаем дальше: репортаж Масюк
О томских изоляторах и колониях.
Там применяются такие пытки,
Что отдыхают Вологда с Мордовией.
Так, для примера, всех новоприбывших
Проводят через камеру, в которой
Стоит на табурете миска с кашей
И ложка. Это ложка «келешованного» —
Или, иначе говоря, опущенного,
Обиженного. Надо этой ложкой
Съесть некоторое количество этой каши.
Один рецидивист, причем кавказец,
Есть отказался, так ему тогда
В зад стали заталкивать ложкой эту кашу,
Семь ложек затолкали, дальше шваброй.
Он знал, куда везут, припрятал лезвие,
Стал себе резать шею и живот,
Ему оперативник ссал на раны
И говорил, что это дезинфекция.
Другого, например, пытали током,
То есть к пальцам ног приматывали провод,
А иногда не к пальцам ног, а к яйцам.
Током пытали, пока не обоссыться
Или не обосрется. Иногда
Подвешивали за руки к потолку,
Держали так, пока не обоссыться
Или не обосрется. В чем прикол,
Штаны там заправляются в носки,
А чтобы человек не видел лиц,
Ему обычно надевают наволочку,
И он блюет туда и в ней стоит,
Чтоб ничего не попадало на пол.

От тока, сообщают заключенные,
Практически нельзя не обоссаться.

Дивертисмент

Под воздействием силы тока
Ссытся, срется человек,
Уссывается жестоко,
Опускается навек.

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Все это время плавают в тумане
Хоры стройные светил.

И совсем невыносимо
Вспоминать про матерей.
Вообще со всяких точек зренья
Лучше сдохнуть поскорей.

Опомнившись, как после дурного сна,
В котором с особенной ясностью понимаешь,
Что после смерти ничего не будет,
А если будет, лучше бы не быть, —
Тут можно предложить ряд возражений
И утешений: первое, простейшее,

Что все они убийцы, рецидивисты,
И им в какой-то мере так и надо —
Не зря начальник этакой колонии,
При коем это все вошло в систему,
Уволился, уехал в Краснодар
И был через полгода там застрелен,
Причем виновных тоже не нашли
И не смогли списать на суицид —
Не потому, что он застрелен в спину,
Это как раз бы не было препятствием,
Стреляются и в спину, ничего,
Еще и произвел контрольный выстрел, —
Не потому, но есть такие люди,
В чей суицид поверить невозможно,
И эта мысль так оскорбит их память,
Как, например, свидетельство о том,
Что иногда они подавали нищим.
Нет, беспросветность – так уж
беспросветность.
Так вот: они же все рецидивисты,

То есть им в какой-то мере так и надо,
Решит благополучный обыватель,
Не знающий, что завтра это все
Способно приключиться лично с ним,
С его детьми, с его старухой матерью —
Мать лучше, я говорил, не вспоминать;
Есть утешенье более продвинутое,
Почти религиозно-философское,
Из тех, что обязательно любезны
Начитанным еврейским христианам
Или команде сайта «Православие».
Суть аргумента в том, что в злодеяньях
Количество неважно вообще,
Освенцим ничего не добавляет
К распятию Христа, и потому
Мы не узнали ничего особенного.
Да, безусловно, ничего особенного,
Да и чего мы, собственно, не знали,
Но возникает некая неловкость,
Причины коей трудно сформулировать.
Распятие Христа не обязательно
Могло сопровождаться воскресением,
И суть не в нем, и не в высокой миссии —
Евангелие не менее кроваво
От этих всех пасхальных утешений,
От многолетней ролевой игры,
Что происходит по его мотивам;
И добровольность этого распятия
Не снимет гефсиманского отчаянья,
Поэтому любые пытки током
Как будто ничего не добавляют
К древнейшей ссоре Каина и Авеля,
С тех пор запечатленной на Луне;
Но, как говорится, Луна Луной,
А всякий раз, садясь писать стихи,
Припоминаешь томскую колонию
И думаешь: на томскую колонию
Все это повлияет очень мало,
А, собственно, зачем тогда вообще?
Не в наших силах отыскать слова,
Что поколеблют томскую колонию;
Вернее, их смогла найти Масюк,
И там теперь кого-нибудь уволят,
Уволенный уедет в Краснодар
И будет там убит рецидивистами,
Другую же победу справедливости
В Отечестве представить затруднительно.
Какие стихи возможны после Освенцима —
Мы знаем все, их страшное количество,

Но эти штаны, заправленные в носки,
Внушают новые, иные чувства.

В конце концов я говорю себе,
Что это вообще другое дело,
Как доктор говорил в одном романе,
Что смерть – это просто не по нашей части.
Дракон не отменяет соловья,
Освенцим не отменит вальсы Штрауса
(Хотя, сказать по чести, в вальсах Штрауса
Уже заметно что-то из Освенцима);
И вообще культурные растения
Нуждаются в уходе, а сорняк
Произрастает сам неограниченно,
И если произвести гораздо больше,
В промышленном количестве буквально,
Рифмованных или ритмичных строк,
То можно переполнить мир и вытеснить
ГУЛАГ, Освенцим, томскую колонию,
Покойного автора рифмы «верлибр» – «калибр»…
(Он тоже рифмовал, но будем думать,
Что иногда суть все-таки не в рифме.)
Вот так одолевается неловкость
При поисках причин и оправданий
Для этого бесплодного занятия,
Разумнее какого все же нету;
Тут полагалось бы наладить ритм,
По авторскому легкомыслию разбренчавшийся,
Вогнать все это в пятистопный ямб
И подпустить рифмовки, хоть бы внутренней,
И в хаос тьмы впустить порядок утренний,
Но нет, я делать этого не буду,
Хоть знаю много рифм – допустим, «ламп»,
И почему-то вспоминаю «вамп»,
Но это было бы прямою пошлостью.
Нет, не хочу. Нет, этого не будет.
Нет, не хочу по крайней мере сегодня.
Не то чтобы мне это тошно после Освенцима,
Но почему-то стыдно после Адорно.
Не стоит рассуждать, концептуализировать,
Печатать «Негативную диалектику».
Что вообще можно делать после Освенцима?
Писать стихи. А если не умеешь —
Иди и умри, затравленный студентами,
Повторяя: спасибо, Господи, что не в Томске.

А если на том свете есть тот свет,
И там Адорно скажет мне «Привет!»,
То я скажу, что эта стихопроза

Была преодолением невроза.
Ведь этот способ как бы разрешен?
И он мне скажет: ja, sehr gut, sehr schön.

«А то вот был еще такой типаж…»

А то вот был еще такой типаж,
Такая дева с травмой или драмой,
Красавица, при ней имелся паж,
Имелся круг, служивший как бы рамой,
Но главное – при ней имелся миф,
Ее младую жизнь переломив.

В недавнем прошлом некто роковой,
Несчастный и таинственный мужчина —
Любовь ее накрыла с головой
И головы навек ее лишила.
Назло природе, выгоде, уму
Она была привязана к нему.

Он старше был на десять-двадцать лет,
Невротик и …дун[1], как Вуди Аллен,
Но не насмешник, нет, не чмошник, нет.
Он был небрит, непризнан, гениален,
Озлоблен, как любая из теней,
И эту злобу вымещал на ней.

Он вел занятья, студию, ЛИТО,
Его талант никто не мог измерить —
Он сам себя назначил, и никто
Не мог проверить. Приходилось верить.
Аскет превыше быта и вина:
Его играли свита – и она.

Он мало в ней нуждался. Ни восторг
Его души не трогал, ни забота.
Он отпускал ее, потом – дерг-дерг —
Подтаскивал обратно для чего-то:
Всевластен ли над этой простотой —
Ненужною и, в сущности, пустой?

А после снова следовало «Брысь»,
Все бешеней, все резче раз за разом.
Он то ли не решался развестись,
А то ли к детям страстно был привязан, —

[1] Слово на букву «б».

В наличии сомнительных причин
Его еще никто не уличил.

И вот – ты мог быть полон совершенств,
Но в некий миг холодный, подколодный
Ты ясно понимал, что номер шесть
Есть номер твой врожденный, потолок твой:
Она бросала жалкого юнца
С привычным выражением лица —

С таким, ты знаешь, жертвенным, как Русь
Над черной грязью или Бог над хлябью,
Хотя за ним и прятала, клянусь,
Все ту же трусость – жабью, бабью, рабью,
Все ту же роковую пустоту,
Любезную подростку – и скоту.

Жужжит мобильник, гаснет общий смех,
И все глядят с почтеньем, как на святость,
Как в тот же миг она бросает всех,
И, вся светясь, несется, как бы спятив,
Бежит связать разорванную нить,
И ноги мыть ему, и воду пить.

И ты стоишь, сюда пришедший с ней
(С чего еще и на люди несет нас?) —
И, триумфатор, ясного ясней
Ты собственную видишь второсортность,
Ту недоброжелательность судьбы,
В какой бы все признались, если бы

Хватило духу. С первого же дня,
С первейшего свиданья и алькова
Я знал, что здесь любили не меня.
Тогда кого? А вот его, такого:
У всех Кармен, да и у всех камен
Годился я для временных замен.

И что тогда? Казалось бы, порви
И обрети хоть радости разрыва.
Любовь несправедлива. Суть любви —
Лишь в этом: что она несправедлива,
И так демонстративна, так горда,
И так чужда понятию стыда!

И с жизнью то же: заговор предтеч,
La vache fatale, зависимость и драма.
Спроси себя, решившись перечесть:
Что означает пиковая дама?

Вот то и означает: стыд, урон,
Глядящий на тебя со всех сторон.

Пригляд. Сопротивление среды:
Расплющило меня не по делам ты.
Здесь бесполезны все мои труды
И неуместны все мои таланты,
Здесь нужен кто другой. А кто другой?
Я не встречал того, кто не изгой.

И разлюбил. А что тут понимать,
Чего хотеть, что толку огрызаться?
Не блядь, не ангел, не сестра, не мать,
Но женщина, влюбленная в мерзавца,
Не стоящая ярости борца,
Ни злобного, ни доброго словца.

И разлюбил. Таков диапазон
У всех признаний, всех любовных песен:
Влюбленный глуп, разлюбленный смешон,
А разлюбивший мало интересен,
Но холоден, как цепь рассветных туч,
Не так навязчив, более живуч.

Газетные труды и литпроцесс
Меня по свету всячески кидали;
Я видел много всяческих небес.
Такое небо видел я в Китае —
Настолько равнодушное к земле,
Насколько мир был холоден ко мне.

Ты можешь строить стену. Можешь класть
Рядами камни, штабелями трупы,
Но эта желто-дымчатая масть,
Расплывчатые облачные купы,
Седые тигры, синие слоны —
К твоим усильям будут холодны.

Я буду расставлять свои ряды,
Сажать сады и сохнуть год от году,
А ты беги, вступай в свои следы,
Неси гостинцы своему юроду,
И ржавчину лобзай его цепей,
И ноги мой ему, и воду пей.

Ex Portland

Цикл Овидия Ex Ponto написан на окраине империи,
в городе Томы.

Он был нам вместо острова Халки и вместо острова Капри:
Его прибоя острые капли, базара пестрые тряпки,
Его заборов толстые палки, ослизлого камня смрад
Его акаций плоские прядки и срам курортных эстрад.

Он был хранилищем наших истин, не новых, но и не стыдных,
Как Чехов, наш таганрогский Ибсен,
наш подмосковный Стриндберг,
Который тут же неподалеку ссыхался не по годам,
Отлично ведая подоплеку отлучек своей мадам.

Здесь доживал он средь гор-громадин, опутанных виноградом,
Но умирать переехал в Баден – не дважды-Баден, а рядом,
Поскольку жизнь – невнятное скотство, а смерть – это честный спорт,
Поскольку жизнь всегда второсортна, а смерть – это первый сорт.

…Он был нам Ниццей – да что там Ниццей, он был нам вся заграница —
Такой чахоточный, полунищий, из туфа вместо гранита,
Доступной копией, эпигоном на галечном берегу:
Он был нам Лиссом, и Лиссабоном, и Генуей, и Гель-Гью.

Ведь Наше все, как ссыльная птица, такое невыездное,
Должно же где-нибудь обратиться среди гурзуфского зноя:
– Прощай, свободная ты стихия, сверкающ, многоочит!
Все это мог бы сказать в степи я, но «К морю» лучше звучит.

Прощай, утопия бело-синяя, курортность и ресторанность.
Теперь, с годами, он стал Россией, какой она рисовалась
Из Касабланки или Триеста, и проч. эмигрантских мест.
Для вдохновения нужно место, на коем поставлен крест.

Для вдохновения нужно место, куда нам нельзя вернуться —
Во избежанье мести, ареста, безумства или занудства,
И чтоб ты попросту не увидел и не воспел потом,
Как Рим, откуда выслан Овидий, становится хуже Том.

Так вот, он был для нас заграницей, а после он стал Россией —
Всегда двоящийся, многолицый, божественно некрасивый,
Его открыточная марина, заемный его прибой —
Легко меняющий властелина, поскольку не стал собой.

Так Эдмунд Кин в театральной байке то Гамлетом, то Отелло
Являлся к знатной одной зазнайке; когда ж она захотела,
Чтоб он явился к ней просто Кином – нашла чего захотеть! —

Он ей ответил с видом невинным: простите, я импотент.

Все время чей-то, носивший маску и сам собой нелюбимый,
Подобно Иксу, подобно Максу с убогонькой Черубиной,
Подобно ей, сумасшедшей дочке чахоточного отца,
Что не могла написать ни строчки от собственного лица.

Всю жизнь – горчайшая незавидность. Старательно негодуя,
Стремясь все это возненавидеть, на что теперь не иду я!
Так умирающий шлет проклятья блаженному бытию,
Чьей второсортности, о собратья, довольно, не утаю.

Когда на смену размытым пятнам настанет иное зренье,
Каким убожеством суррогатным увижу свой краткий день я!
Какой останется жалкий остов от бывшего тут со мной —
Как этот грязненький полуостров, косивший под рай земной.

А с ним и весь этот бедный шарик, набор неуютных Родин,
Который мало кому мешает, но мало на что пригоден, —
Вот разве для перевода скорби в исписанные листки,
Источник истинно второсортный для первосортной тоски.

Триптих

1

Мой учитель истории Страхов
Все твердил «Ничего-ничего»,
А сегодня на выдаче прахов
Мы с утра забираем его.

«Похоронят, зароют глубоко…»
Остальное исчезнет в трубе.
Мы читали про это у Блока,
А теперь применяем к себе.

Этот месяц лежал он в гангрене,
Как в геенне, в больнице, и вот
Он остался без ног по колени,
А потом и почти под живот.

Между шуток, намеренно грубых,
На вопросы убитой родни
«Жить не буду. Теперь я обрубок», —
Говорил он в последние дни.

Он писал на прощание в блоге:
«Утешенья тошны и пошлы.
Ухожу догонять свои ноги,
Чтоб они далеко не ушли».

А задуматься – кто не обрубок?
Ибо время – токарный станок:
Из одних оно выточит кубок,
Из других – неваляшку без ног.

Словно ворс из протершейся шубы,
Обнажая участки мездры, —
Высыпаются волосы, зубы,
Безнадежно скудеют мозги,

Ослепительный, пышный избыток
Тех, кто грозен, блестящ и умен,
Превращается в свиток забытых,
Безнадежно ненужных имен.

Ибо смерть – не короткое слово.
Смерть дается упорным трудом.
Ничего я не делал другого,
Ни о чем я не думал другом.

А душа улетает при жизни,
Отсеченная тем же станком,
Так что если и плачут на тризне,
То уже непонятно, о ком.

2

Миг, когда она улетела
Прочь, —
Интимное дело,
Как первая ночь.

С этих пор не имеет значенья
Ни мое торжество,
Ни чужое мученье —
Вообще ничего.

И бряцанье металла,
И людей толкотня —
Вообще волновать перестала
Меня.

Доживание тела,
Искрошившийся мел:
Голова опустела
И размер охромел.

Ни грез, ни риска.
Вон, друзья.
Со всем смирился,
С чем нельзя.

3

Так и бродит оно, бестолковое,
С этих пор не живя, а терпя,
То в бессмысленном ужасе холода,
То в животном восторге тепла.

Только изредка, изредка, изредка
Средь засилья картонных химер
Вспыхнет искорка быстрого высверка,
Как сегодня с утра, например.

Небеса совершенно весенние,
А-капельная ржавая жесть,
Облегчение, вера в спасение —
Весь набор туповатых блаженств.

Все в прекрасной воссоздано целости,
Столь приятной небесным властям:
Все обиды, утраты и ценности,
Что растрачены здесь по частям.

Желто-серых небес расслоение,
Блеск, роение, синь и свинец,
Раздвоение их, растроение,
Настроение «Ну наконец».

Элегия в трех сонетах

Небритое осматривая рыло,
Прямой портрет усталого нутра,
Ревизию всего, что есть и было,
Как водится, устраивая с утра, —
Где, вопрошаешь, блеск, талант и сила,
Все, для чего вообще вставать с одра?

Где милые? Одних взяла могила,
Других – хандра, а остальных – литра.
А ненависть? А ненависть на месте,
Чистейшая, как холод внеземной,
Надежнейшая, преданная без лести,
Надувшись вожделеньем и виной,
Замена славы, доблести и чести,
Переживая всех, умрет со мной.

Все уплыло, сбежало, улетело,
Всех пожрало державное жерло,
Тому изменила душа, другому тело,
Оставшиеся дышат тяжело.
Все, так сказать, что рвалось-металось-пело,
Любилось, обещало и ржало,
И лопалось от сока, как поме́ло, —
Всех подмело большое помело.
А ненависть? Среди времен бесславных
Она спасет бесславные места,
Исправная, как капитан-исправник,
И страстная, как детские уста,
Как свежая вода в прогнивших плавнях,
Как в дряблом Риме проповедь Христа.

Как юный пионер, всегда готова,
Как нежность непристойная, тяжка,
Все помнит – до словца, до полуслова,
Мельчайшего, мерзейшего шажка,
Безжалостна, безо́бразна, безброва,
Как взрывом обожженная башка,
В тени полуразрушенного крова
Застыла в ожидании прыжка.

Цела, бессмертна – львиная, баранья,
Крысиная – как хочешь назови.
Дошел до грани и смотрю за грань я:
Передо мной последний визави,
Последняя из форм существованья,
Последнее прибежище любви.

Из цикла «Новые баллады»

И я ж еще при этом
Не делал ничего,
Что вопреки запретам
Творило большинство:
Не брал чужой копейки,

Не крал чужой еды,
Не натравил ищейки
На чьи-либо следы,
Не учинял допросов,
Не молотил под дых,
Не сочинял доносов
И не печатал их,
Заниженную прибыль
Не вписывал в графу,
Не обрекал на гибель
(Но это тьфу-тьфу-тьфу).
Я зол и многогрешен,
Как всякий тут феллах,
Однако не замешан
Во всех таких делах,
В которых обвинялся
Вонючей блатотой,
Чей вой распространялся
Летучей клеветой.

А будь я хоть покроем,
Хоть профилем сравним
С таким антигероем,
Что рисовался им,
Да будь хотя отчасти
Во мне совмещены
Такая верность власти
С угрозой для страны,
Растли я хоть младенца
Четырнадцати лет,
Сопри хоть полотенце
В гостинице «Рассвет»,
Соври, как этот глупый,
Глядящий в пол ишак,
Рассматривавший с лупой
Любой мой полушаг,
Всю жизнь дающий волю
Наклонностям души, —
Хоть крошечную долю
Себе я разреши
Того, что эта свора,
Тупая, как мигрень,
Насмешливо и споро
Творила каждый день,
Найдись им в самом деле,
За что меня терзать, —
Небось они б сумели
Рекорды показать!
Суд был бы беспощаден,

Зато на радость всем.
Как купчик Верещагин
В романе «В. и М.»,
Я был бы так размешан
С московскою грязцой,
Что стал бы безутешен
Грядущий Л. Толстой.

И так родная лава
Под коркою земной
С рождения пылала,
Кипела подо мной,
И лопалась, и рдела
Как кожа на прыще.
А было бы за дело —
Убили б вообще.

Но в том-то и обида,
Но в том-то и беда,
Что если б хоть для вида
Я сунулся туда,
Имею подозренье,
Что встретил бы в ответ
Не пылкое презренье,
А ласковый привет.
Буквально in a minute
Зажглось бы торжество;
Я тут же был бы принят
У них за своего, —
Ведь их антагонистом
Я был лишь в той связи,
Что мнил остаться чистым
В зловонной их грязи.

Твердыня ты, пустыня,
Насколько ты пуста,
Гордыня ты, гусыня,
Святыня без Христа.

Еще танго

Я непременно перейду на вашу сторону,
Но не внезапно, не стихийно, не по-скорому,
И это будет не чутье, не страх, не выгода,
Но понимание, что нет иного выхода
И на пути к изничтожению бесспорному
Спасет лишь мой демарш-бросок на вашу сторону,

Как переход во вражий лагерь прокаженного
Или другого чем смертельным зараженного.

Да, вот тогда я перейду на вашу сторону —
К тупому, хищному, исконному, посконному,
К необъяснимому, нелепому, нестройному,
Фальшиво шитому и неприлично скроенному.
И вот тогда я перейду на вашу сторону —
Точней сказать, перелечу, подобно ворону,
Неся с собой свое клеймо, свое проклятие,
А уж оно падет само на вас, собратия.
Оно, за что я ни берусь, меня преследует,
И вечно ждет, что я загнусь; когда – не ведает.
Пойди я в летчики – летать бы мне недолго бы;
Пойди в валютчики – попадали бы доллары;
Пойди я в сыщики – у всех бы стало алиби;
Пойди в могильщики – вообще не умирали бы.
Оно ползет за мной, как тень, скуля, постанывая,
И станет вашим в тот же день, как вашим стану я.
Мое предательство ценя, – ему-то рады вы, —
Не оттолкнете вы меня, хотя и надо бы,
И перекинется гнилье, и ляжет трещина,
И станет вашим все мое, как и обещано.

Я, как гранату, жизнь закину в ваше логово —
Видать, затем и берегли меня, убогого.
Себя я кину, как гранату – ту, последнюю,
С моей прижизненною кармой и посмертною.
Вот ровно так я перейду на вашу сторону,
И мы толпой, в одном ряду войдем в историю,
И там опустимся на дно, как маршал Паулюс,
Но если с вами заодно, то я не жалуюсь.

«Земля очнется после снега – и лезут из-под него…»

Земля очнется после снега – и лезут из-под него
Обертки, хлам, почему-то кости, битый кирпич,
Стекло, бутылки из-под пиво, бутылки из-под вино,
Дохлые крысы и много чего опричь.

Со всем этим надо бы что-то сделать, но непонятно, как
За все это браться после такой зимы,
Когда мы тонули в сугробах, шубах, вязли в клеветниках,
А как приводить в порядок, так снова мы.

…Вот так очнешься после ночи – и лезут из-под нее
Вчерашние мысли, скомканные носки,

Обломки тем, обломки строчек, сброшенное белье,
Малознакомое тело рядом, прости.

Внизу, на улице, та же свалка и аромат при ней,
И дождь со снегом, вечный, как вечный жид.
Казалось, за ночь все это станет вечера мудреней,
А нет, не стало, как лежало, так и лежит.

…Душа очнется после смерти – а там все тот же кабак:
Смерть завистников не смирила, павших не развела,
Зла не забыла, и все, что было сброшено кое-как, —
Так и валяется в беспорядке: дела, тела.

Вокруг лежит печальная местность, русла, мосты, кусты,
Аккумуляторные пластины и ЖБК,
Повсюду запах прелой листвы и горечь новой листвы,
Серо-зеленый цвет бессмертья и бардака.

Рыжеют пятна былых стычек, чужих обид,
Лопнувших начинаний, пустых лет.
Казалось, смерть облагородит, посеребрит,
Гармонизирует, – но оказалось, нет.

И надо все начинать сначала, цвести и гнить,
Подхватывать эту нить и узлы вязать,
И не скажешь, зачем, и некому объяснить,
А главное, непонятно, где силы взять.

Дембель

Александру Миндадзе

Чем дольше опыт бытия,
Тем чаще я
Воспринимаю смерть как дембель.
Лет тридцать минуло с тех пор,
Но вижу явственно, в упор,
Какой прекрасный это день был.

Была весна.
Цветочки, листья, мать честна.
Жизнь впереди была в порядке.
Степенный, словно черный грач,
Вдоль местных дач
Я по Славянке шел в парадке.

Не в лучшей форме я, увы,

Среди ликующей листвы
Встречаю эту годовщину.
Уже все чаще я ворчу,
Хожу к врачу,
Уже впадаю в дедовщину.

Уже мы быстро устаем,
С трудом встаем —
Не я и тот, о ком ты мыслишь,
А я и мрачные скоты,
Которых ты
Моими сверстниками числишь.

Уже плевать,
Кто унаследует кровать
И сбереженья прикарманит.
Мир не погублен, не спасен,
И вечный сон
Не столь пугает, сколько манит.

Хотя в невечном, здешнем сне
Порою мне
Повестку вновь кидают в ящик,
И так ужасен этот сон,
Что тяжкий стон
В моем дому пугает спящих.

Когда покинем этот свет —
Бессмертья нет,
Теоретические споры
Идут не дальше общих фраз,
Но как-то раз
Нас призовут еще на сборы.

Вдруг наши шпаги и ножны
Еще окажутся нужны —
Хоть для подмоги, для подпитки?
Кто не убийца и не тать —
Как им не дать,
Не разрешить второй попытки?

Окопы старые и рвы
Порой, увы,
Зарытых снова изрыгают.
Все барды издавна поют
О том, что павшие встают
И помогают.

До этих пор

Нас ждет какой-то коридор,
Тошнотный, как в военкомате,
И там мы будем вспоминать
Былую рать
И как блистали в этой рати.

Кичиться будут погранцы,
Орать – десантные бойцы,
Артиллерист опять нажрется,
Звонить в испуге будет мать,
Невеста – ждать,
И как обычно, не дождется.

Все будут, как типичный дед,
Перечислят своих побед
Ряды и даты, —
Вранье зашуганных мудил:
Ужели, если б победил,
Попал сюда ты?

Не знаю, как в другой войне,
А в этой, что досталась мне,
Напрасны доблести стальные.
Бессильны и добро, и зло:
Есть те, которым повезло, —
И остальные.

Но нас построят на плацу —
Или расставят по кольцу,
Как ожерелье,
И мы увидим на свету,
Как растеряли красоту,
Как ожирели,

Прогнили грудью и спиной —
Иной посмертно, а иной
Еще при жизни,
Как эти выходцы из ям
Тупы, помяты по краям,
Как нас обгрызли.

И вот вам весь парад планет:
Бессмертья нет,
А только ржавчина без счета.
Нелепо думать, что в земле,
В ее котле,
Нетленное хранится что-то.

Тогда Господь – майор такой —

Махнет рукой
На эти пролежни и пятна:
Наш утлый ряд
Фальшиво поблагодарят
И комиссуют безвозвратно.

Бремя белых

Несите бремя белых,
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей —
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть, чертям.

Киплинг

Люблю рассказы о Бразилии,
Гонконге, Индии, Гвинее…
Иль север мой мне все постылее,
Иль всех других во мне живее
Тот предок, гимназист из Вырицы,
Из Таганрога, из Самары,
Который млеет перед вывеской
«Колониальные товары».

Я видел это все, по-моему, —
Блеск неба, взгляд аборигена, —
Хоть знал по Клавеллу, по Моэму,
По репродукциям Гогена —
Во всем палящем безобразии,
Неотразимом и жестоком,
Да, может быть, по Средней Азии,
Где был однажды ненароком.

Дикарка носит юбку длинную
И прячет нож в цветные складки.
Полковник пьет настойку хинную,
Пылая в желтой лихорадке.
У юной леди брошь украдена,
Собакам недостало мяса —
На краже пойман повар-гадина
И умоляет: «Масса, масса!»

Чиновник дремлет после ужина

И бредит девкой из Рангуна,
А между тем вода разбужена
И плеском полнится лагуна.
Миссионер – лицо оплывшее, —
С утра цивильно приодетый,
Спешит на судно вновь прибывшее
За прошлогоднею газетой.

Ему ль не знать, на зуб не пробовать,
Не ужасаться в долгих думах,
Как тщетна всяческая проповедь
Пред ликом идолов угрюмых?
Ему ль не помнить взгляда карего
Служанки злой, дикарки юной,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.